

*Мы сказками предания зовём,
Мы глухи днём, мы дня не понимаем;
Но в сумраке мы сказками живём
И тишине доверчиво внимаем.*

И.А. Бунин

– Ну, вот она, Бедокуриха твоя и есть. – Антон, водитель колхозной «полуторки», остановил грузовик на разъезженной просёлочной дороге и указал в сторону двух десятков бревенчатых изб, прилепившихся к изножью безлесной горы, вздымающейся над малахитовым морем Восточносибирской тайги. – Прибыли! Завтра поутру, часов эдак в шесть, как буду, значаца, обратно ехать, тебя подберу. Только ты уж, паря, не проспи, на своих двоих отседова ни в жисть не выбраться, а другой попутки неделю ждать – не дождёшься. Лады?

– Лады, – согласился Кирилл, подхватил брезентовый рюкзак, красно-белую спортивную сумку из коззама с символикой Олимпиады-80 и спрыгнул на раскисшую после недавнего дождя землю. Накинул рюкзак на плечи, вдохнул полной грудью дурманящий, пропитанный запахами багульника и хвои, воздух и бодро зашагал в гору.

В это дремучее, даже по меркам Забайкалья, захолустье Кирилла Хомутова – тридцатилетнего научного сотрудника Бурятского института общественных наук, забросила не судьба и не пустая блажь, а работа над кандидатской диссертацией. Он собирал былички и бывальщины, бытующие среди местного русского населения, руководствуясь заранее составленной картой перспективного исследования. Защита планировалась уже в следующем, 1981 году, а потому время поджимало.

За лето Кирилл успел объехать более тридцати сёл и деревень Читинской области и, вообще-то, материала добыл с избытком. Так что Бедокуриха являлась конечным пунктом его командировки. Эту деревню Хомутову порекомендовал научный руководитель, заведовавший в их институте сектором русско-сибирского фольклора, профессор Вершинин. Профессор сам заезжал в здешние места лет пять назад и уверил Кирилла, что селение это как-то особенно богато старожилками-долгожителями, до сих пор хранящими в памяти целый кладезь мифологических рассказов нужной тематики.

На полпути к деревне Кирилл остановился,

вытащил из надорванной пачки «Астры» плоскую сигаретку и попытался прикурить. Но спички отсырели и никак не хотели вспыхивать. Чертыхнувшись, он снял кепку и принялся тереть спичку о волосы – проверенный способ, не раз его выручавший. Просушив спичку и добыв огонь, он глубоко затаился, задумчиво обозревая окрестности.

Августовский день был пасмурен, но душен, как случается перед грозой; низкие тяжёлые облака, при полном безветрии недвижимо зависшие над горой, едва не касались её вершины. Кирилл утёр кепкой пот со лба и продолжил подъём.

Тропа, змеящаяся среди сырого разнотравья, вывела его к первому жилью – стоявшей на отшибе невысокой, без подклета избе, рубленной из кондовой лиственницы. Окинув строение взглядом, Кирилл аж присвистнул: на вид тому было лет сто, когда не более. Что ж, оставалось надеяться, что и хозяева окажутся под стать дому. Вот только смотрелась изба как-то... мрачновато, даже зловеще. Глубоко, венца на два, вросшая в землю, заметно покосившаяся, насупившаяся на белый свет массивным охлупнем, она напоминала давно пережившую свой век, но всё ещё суровую и властную старуху.

Кирилл постучал в невысокую дверь и прислушался. Кажется, в избе кто-то разговаривал. Он постучал ещё раз. «Отворено!» – донёсся изнутри женский голос. Он толкнул дверь, пригнувшись, шагнул в сени и едва не оступился – пол в сенях находился изрядно ниже уровня земли. Когда глаза привыкли к сумраку, он разглядел, что стены помещения обшиты толстыми некрашеными тесинами; на вбитых крюках висела одежда: овчинный тулуп, пара ватников и ещё что-то; на полу под тулупом и ватниками выстроились резиновые сапоги, валенки, другая нехитрая обувь, по виду – женская, порядком заношенная, углы заставлены всяким хозяйственным скарбом.

Тут вторая, ведущая из сеней в избу, дверь распахнулась, и к нему вышла женщина лет семидесяти с гаком или восьмидесяти. Долговязая, жилистая, лицом она была худа и скуласта, близко посаженные глаза-буравчики смотрели пронизательно и остро. Кирилл представился – мол, учёный из города, здесь по заданию института и всё такое; коротко, давно обкатанными фразами, объяснил цель визита: дескать, ездит по деревням, обходит наиболее уважаемых

и знающих жителей и записывает необычные истории, что случались с ними или с их близкими в прежние времена.

– Заходи, раз из эдакой дали приехал, – сказала хозяйка. – Не шибко я поняла, что за дело у тебя, ну да ладно, за столом растолкуешь.

Горница в целом гармонировала с внешним обликом избы: полаты, глинобитная печь едва не в полпомещения, тяжёлый потолок из сплошного круглого накатника, стены, сложенные из гладко отёсанных брёвен, по стенам – широкие лавки. Снижал впечатление старенький чёрно-белый «Рекорд-67» в красном углу.

За длинным столом сидели две старушки, перед каждой дымилась чашка с горячим чаем, тут же стояли сахарница, вазочки с вареньем, глубокая миска с баранками и накрытый тряпичей чугунок. Старушки лишь улыбочиво покивали гостю и вновь вперились в экран – показывали третью серию «Цыгана».

– Ты, мил-человек, посиди пока тихонько, – негромко сказала хозяйка, указывая на лавку, – кино скоро кончиться, тогда и поговорим.

– Уж больно фильм хорош, – извиняющимся тоном пояснила одна из сидящих перед телевизором бабулек.

– Тише ты, Фёкла, – тут же шикнула на неё вторая.

Кирилл послушно присел на лавку, с интересом осматриваясь. Кажется, ему повезло – в первой же избе застал сразу трёх местных старожилок. Теперь главное разговорить бабулек, направив разговор в нужное русло. А для этого необходимо найти к ним подход. Насчёт хозяйки, несмотря на её внешнюю суровость, он не переживал. Кирилл убедился на опыте, если уж пригласили в дом, не отказали, сославшись на занятость или иные причины, то дело пойдёт. А коли ещё и за стол усадят, тогда и вовсе. Но что с остальными двумя? Наверняка это соседки, зашедшие на фильм, скорее всего ровесницы хозяйки. Выглядели они вполне добродушно: маленькие и плотные, румянощёкие и похожие одна на другую, точно сёстры-близнецы, старушки напоминали пару сказочных колобков.

Наконец пошли титры, хозяйка выключила телевизор и пригласила гостя к столу. Кирилл, не тратя времени, вытащил из рюкзака кулёк конфет, две пачки печенья «Земляничное» и пол-литра «Зубровки».

– Гляди, Устинья, гость-то у тебя какой знатный, – с весёлым квохтаньем заметила одна из румяных старушек, – с гостинцами, не абы что. Сразу видать – городской, культурный.

– А что там у вас в городе не слыхать, – спросила вторая, – поладят Будулай с Клавдей, ли чё ли?

– Погодь ты, Евдокия, со своим Будулаем, – оборвала её хозяйка. – Человек не кино смотреть приехал, а по делу. – И обращаясь к Кириллу, заявила: – За конфеты спасибо, а казёнку при-

бери, у меня наливка домашняя есть, на травах да ягодах. Да и крепка она для нас, казёнка-то, сколь там... у-у! сорок градусов! Прибери, прибери. Так что у тебя, говоришь, за надобность?

– Что ж, Устинья, мы пойдём, пожалуй, – забирались Фёкла с Евдокией.

Но Кирилл, включив всё своё обаяние, упрямил обеих бабулек остаться, поскольку, дескать, в его деле и они очень помочь могут. Хозяйка дома – Устинья, принесла тем временем обещанную наливку в пузатой литровой бутылки тёмно-зелёного стекла и поставила перед гостем миску с пирожками.

– Откушайте с дороги. Эти – с капустой, а те – с яйцом и луком. Холодные, правда, дак, кто ж знал...

Кирилл заверил, что холодные пирожки его самое любимое блюдо, представился, рассказал, кто он и откуда, и как мог доходчивее объяснил, с какой целью пожаловал в их деревню.

– Так тебе что ж надо-то? – с недоумением уточнила Фёкла. – Нешто сказки? Я какие, может, и знала раньше, все запамятовала. И не мастерица я сказки-то сказывать. Это тебе лучше к Корякиной Прасковье, она...

– Нет, нет, нет! – перебил её Кирилл. – Мне нужны от вас не сказки, а былички, бывальщины. Сказки это про то, что никогда не было, ну «В некотором царстве, в некотором государстве...», а меня интересуют истории, которые на самом деле случились – или с вами или со знакомыми вашими, односельчанами там, или с кем-то из родственников, понимаете? Но только истории необычные – волшебные. Про колдовство, приворот, про домовых да леших, про покойников, про то, как хомуты надевали, и тому подобное. В общем, удивительные истории, чудесные даже, но не выдуманные, а настоящие. Знаете такие?

Женщины переглянулись, покачивая головами и задумчиво вздыхая. Долговязая Устинья молча поднялась, принесла четыре стеклянных рюмки с золотыми ободками и распорядилась:

– Давай-ка, наперво, наливки моей спробуй, а там, глядишь, и вспомним чего.

Выпив наливки, которая и впрямь оказалась весьма вкусна, все некоторое время молча жевали. Потом хозяйка, ткнув надкусанным пирожком в Евдокию, заявила:

– Слышь-ка, Даниловна, расскажи человеку про тот случай, что с твоим свёкром, с Егором Кузьмичом был.

– И верно, – поддержала её Фёкла, – давай, Дуня, сказывай про свёкра. А ты, Устинья, наливочки нам ещё плескани. Ой, до чего у тебя наливочка вкусна, до чего вкусна! Так бы, кажись, пила бы да пила.

– Пить – не дрова рубить, – с усмешкой заметила хозяйка, наполняя, тем не менее, рюмки тягучей жидкостью. Ну, Даниловна, вспомнила про Кузьмича? Расскажешь?

– Отчего не рассказать? – легко согласилась Евдокия. – Расскажу.

– Погодите минутку! – всполошился Кирилл. – Я сейчас, мне же надо всё подготовить.

Он вытащил из спортивной сумки кассетный магнитофон «Электроника-301» московского завода ТочМаш, бережно (вещь казённая) положил на стол, подключил микрофон и вставил чистую кассету МК-60; потом достал из той же сумки пухлую записную книжку и приготовил ручку.

– Мне необходимо записать ваши полные данные: фамилию, имя, отчество и год рождения, – объяснил он и извинительным тоном добавил: – Такой порядок.

– Пиши, раз порядок, – не стала возражать старушка. – Мосолова я, Евдокия Даниловна, родилась здесь же, в Бедокурихе, в девяносто третьем годе.

– Так вам, Евдокия Даниловна, восемьдесят семь лет? – поразился Кирилл. – Никогда бы не дал.

– А что ж? – пожалала та пухлыми плечиками. – Младшая я.

– Младшая? – не понял Кирилл.

– Ага, младшая. Сестра-то, – старушка кивнула на свою соседку, – на два года меня старше будет. Так, Фёкла?

– Где на два-то? – возмутилась Фёкла. – На год и девять месяцев только!

– Ну пусть, – согласилась Евдокия. – А Устинья нас обеих старше.

– Давайте, я и ваши данные сразу запишу, – обратился Кирилл к хозяйке.

– Устинья Тимофеевна Полоротова, – с готовностью ответила та, – с тысяча восемьсот восемьдесят шестого году по пачпарту. Показать, ли чё ли?

– Если несложно, Устинья Тимофеевна.

Хозяйка поднялась и скрылась за занавеской, которой был отделён кутный угол. Вернувшись, протянула Кириллу документ.

– По выпиши из метрической книги дату свести, – пояснила она.

Кирилл только головой покачал. Зафиксировав данные всех трёх женщин, он нажал на магнитофоне нужную клавишу и сказал:

– Ну, Евдокия Даниловна, мы готовы выслушать ваш рассказ.

– Это что ж, – спросила старушка, указывая на микрофон, – в эту штуку говорить надо?

– Вы говорите, как обычно, а на штуку не обращайте внимания.

– Ну что ж, мил-человек, слухай... – заговорила старуха Мосолова, поудобнее устраиваясь на лавке и поправляя концы завязанного под пухлым подбородком платка, – случилось это не в нашей Бедокурихе, а в Нижней Куенге. Ну не в ней самой, а рядом то исть...

– Погодь-ка, Даниловна, – прервала её Устинья, – время-то позднее, да и неведомо, сколь мы тут пробалакаем, так я покудова загодя всё

уж приготовлю, чтобы после по избе не скакать...

С этими словами хозяйка схватила со стола оловянную плошку, споро наполнила её пшённой кашей из стоящего тут же чутунка и вновь поднялась со своего места. Поставив плошку на шесток русской печи и вернувшись к столу, она сочла нужным пояснить:

– Я, вишь, паря, печь-то недавно протопила, так что каша до ночи не простынет. Хозяин, он, знамо дело, тёплое любит, холодного не уважает, обиду затаить может.

– Какой хозяин? – насторожился Кирилл. – Вы, Устинья Тимофеевна, ещё кого-то ждёте? Ваш... э-э-э... супруг должен вернуться?

– Какой-такой супруг? – удивилась Устинья. – Ты про мужа нешто? Так мужа у меня сроду не бывало. Вся жизнь проходила в девках...

– Кому же тогда вы кашу оставляете?

– Экий ты бестолковый, – вздохнула Устинья. – Известно кому – хозяину! Суседке. Домовому то исть.

– Вот как? Это просто замечательно! – оживился Кирилл. – Просто великолепно! А мне вы после расскажете про домовых-суседок?

– Зачем же после? Ты ж, милоч, Евдокию хотел слушать, она и расскажет. А ты, Даниловна, чего примолкла? Начинай уж, гость-то, поди, заждался...

Евдокия Даниловна пригубила наливки и начала рассказ:

– Я и говорю, то не у нас в Бедокурихе случилось, а в Сретенском, значит, районе... Там свёкор-то мой, Егор Кузьмич, на лесопилке работал. А было это годков эдак сорок, а то и поболее, назад. Егор, он страсть как охоту уважал, любил, мил-человек, по лесу шастать, берданом баловаться. Птицу всякую добывал, зайцев промышлял, лису, куничку опять же вываживал... Иной раз дня по три, а то ажно и по целной седмице пропадал в лесу, у него там по разным удобным местам сидьбы – шалаши, по-вашему – наставлены были. А уж коли сильно надолго застрянет, для тех целей охотничья заимка имела. Добротная, рубленая, с буржуйкой, лежачком и всеми делами...

– Ты, Дуняша, сама нешто с Кузьмичом на охоту хаживала? – рассыпалась квохчущим смешком Фёкла. – Лежанку ему грела?

– Цыц! – прикрикнула на неё сестра. – Уж коли баю, так, стало быть, ведаю! Егор мне разов сто случай тот рассказывал, во всех, почитай, подробностях... И не встревай боле, сиди да помалкивай... Так вот, значит, как-то раз по осени застрял он в лесу надолго – не то уж больно много дичи промышлялось, не то мало, не упомяну. Ну, застрял и застрял, сторожка-то на что? Он – туда. А дело к ночи. Вот он буржуйку затопил, еды какой-никакой в манерке состряпал, пожевал да спать собрался. И что ты думаешь: забыл про суседку-то! То исть всё сам схар-

чил, а домовому ни крошки, ни на синь-пороху не оставил. Уставший был, вот и запамятовал, сердешный. Ладно. Лёг, значит. И только-то засыпать начал – стук, дверь открывается, а на пороге девка в рыжем платье. Коса длинна, сопатка ряба и изо рта три зуба торчат – один снизу да два сверху. Что, думает, за оказия?! А девка ему, свёкру то исть: позволь, дескать, мил-человек, у тебя на займке переночевать; в лесу, мол, заблудилась, покуда грибы рвала да ягоды собирала. Егор её пытается: кто такова и звать как. А она: по разному люди кличут – кто Дунькою, кто Акулькою. Тут свёкор смекнул: не иначе то кикимора в гости к нему пожаловала. Ладно. Заходи, говорит, только лежак у меня один, так ты на пол курмушку мою, куртку то исть, брось да располагайся себе. А что делать? Не пустишь, она снаружи что-нибудь да набедокурит – сторожку подожжёт или ещё чего, а пустишь – тоже беда, но так хоть на глазах будет, уследить можно. Легла, стало быть. У свёкра, ясно дело, сна уже ни в одном глазу, с боку на бок ворочается, ждёт, что дале будет. И правда, часу не прошло, Дунька-Акулька с курмушки подымается, да тихо эдак на карачках к свекровой лежанке ползёт. Егор-то хотел вскочить, да куды! Руки-ноги будто отсохли, и пальцем шевельнуть не может! Да и видит, это уж не девка вовсе, а рысь, самая что ни на есть настоящая, шипит, к нему крадётся! Пасть ощерена, с клыков слюна течёт, глаза точно плоски, жёлтым огнем горят... Страх да и только! Егор и думает: ну, видно, смерть моя пришла, до берданы не дотянуться, руки вовсе онемели, дышать уж и то невмочь, лежит колодой, стонет... Только-то собрался напоследок молитву Богородице вознести, как вдруг из самого тёмного угла, что за буржуйкой, вылезает ктой-то большой, мохнатый, совсем вроде здорового мужика в бараньем тулупе, токмо лица не видать, борода одна... Вылез, упал на рысь и давай её давить. Давит и рычит! Давит и рычит! Глядь, рысь уж не рысь, а та прежняя рябая девка – извивается, пищит, стонет, вырваться хочет... У свёкра враз онемение прошло, он с лежака-то вскочил и за бердану... Но тут и исчезло всё – и мужик и девка – как не было никого! Егор к тому месту, где они боролись, подбёг и видит: лежит на полу мала куколка, тряпицей грязной обмотана. Ну он, понятно дело, схватил эту куколку да скорей в печку железну и бросил – как завизжало оттудова, как искрами шибануло! – и всё, не стало кикиморы. Вона как бывает...

– Замечательная быличка! Такая колоритная... – начал было Кирилл привычные славословия.

– Да погоди ты, заполошный, – тут же окоротила гостя Евдокия Даниловна. – Слухай, что дале было... Так вот, значит, поуспокоился Кузьмич, снова спать наладился. Да едва прилёт – опять стук, дверь с грохотом настезь, а на по-

роге огромный дед в бахановом зипуне и треще куньем; сам, вишь ты, чёрный, мохнатый, кряжистый, что твой дуб, весь волосьями порос, борода лопатой, зенки махоньки, злые. В одной руке – дубина корзоватая, вроде посоха, во второй – коровий недоуздок. Ну и тоже, как водится, просится переночевать: у меня, мол, бурёнка в лес убёгла, я её целый день шукал, да всё зря, только, вот, проваландался до ночи понапрасну. Свёкор и его пытается: кто таков, я в округе, почитай, всех знаю, а тебя, дед, не припомню. Старик в ответ: ну, коли не припомнишь, зови меня «старик Шатун». Свёкор, знамо дело, враз смекнул, кто перед ним. Да и то молвить, какой дурень не догадался бы? Леший, он и в Чухломе – леший! Что тут поделаешь? Не откажешь. Лешему и приглашения без надобности, кругом его, Лесного Хозяина, владения. Старик Шатун и правда особого знаку дожидаться не стал, вошёл, осмотрелся, растянулся прямо вдоль порога и захрапел. Егор бердану подтянул поближе, подле изголовья поставил и лежит сам не свой, а что дале стрясётся, и помыслить опасается. Только думает, зря он в изголовье топор не положил, потому как говорят, от лесовиков это первое средство. Вона как... Ну и точно, часу не минуло, видит Егор, неладное творится: заворочался старик, захрипел, заурчал – совсем медведь в берлоге, а после приподнялся, на карачки встал и давай к лежанке красться. Егор присмотрелся, а ведь то и взаправду никакой не старик вовсе, а медведь! Лапищи здоровущие, когти на них вершка под два, чёрные... Глазелки алым огнём пыхают, пасть зубастая, да такая, что, кажись, в неё и полтелёнка враз поместится, а смрад из той пасти, будто из выгребной ямины! Свёкор было к бердане, да не поспел – сызнава его паралич хватил! – лежит, болезный, чурбак чурбаком, не шелохнется, от смертного ужасу холодным потом обливается. И опять, как и в прошлый-то раз, выскакивает вдруг из-за печи ктой-то мохнатый в бараньем тулупе, кидается сверху на того медведя и давай чудище энто давить что есть мочи. Давит и рычит! Давит и рычит! Егор враз приободрился: ну, думает, не пора мне ещё помирать, может статься, поживу ещё маленько. Вона мой защитник каков, того и гляди, задавит проклятого лешака!.. Ага, ладно. Токмо не тут-то было. Медведь рыкнул раз, рыкнул другой, да и стряхнул с себя запечного мужика! Уселся на него всей-то тушею и давай теперь сам его давить, лапами рвать да зубищами грызть. Мужик не сдаётся, отбивается, но, по всему видать, тают его силы, а медвежьи – возрастают. Свёкор, видя такое дело, попробовал руками пошевелить – хотя и с трудом, но получилось у него до берданы дотянуться, – ухватил он кое-как ружьё, прицелился медведю прям в башку, да и пальнул!.. Смотрит, а тому хоть бы хны, даже и не вздрогнуло чудище поганое... И тут услышал Егор Кузьмич голос, но не въяве, а

будто бы прямо в его голове звучащий: «Беги, Егорка! Беги, покуда не одеревенел вовсе. Не удержать мне твоего недруга, не сладить с ним. Давно я пишии человечьей не едал, ослабел совсем, вот и одолевает меня старик Шатун». Тогда-то и вспомнил свёкор, и пожалел горько, что позабыл с вечеру оставить провизии домовому. Пожалел, да поздно. Впрочем, сполз кое-как с лежака, дотащился до двери и наружу вывалился. А там враз почувал – вернулись к нему силы, спало онемение членов. Видно оттого, что лешак-то на заимке остался. Тут уж Егор мой руки в ноги, да и припустил таким прытком, таким конём виноходным – ажно за полсуток до села добёг!.. Вот, милоч, такая история со свёкром моим случилась. Как сама слыхала, так и передаю, слово в слово, ни на синь-пороху не соврала, – заключила свой рассказ старуха.

– А со свёкром, с Егором Кузьмичом, что стало? – любопытствовал Кирилл.

– А что с ним, бугаём, станется? – со вздохом пожалала плечами Евдокия Даниловна. – Ничего. Умом разве маленько тронулся, в лес уж боле не хаживал, бердану забросил, да и на лесопилке появлялся от случая к случаю – всё на завалинке сидел и казёнку трескал. А как, бывало, на трескается, непременно про домовых да кикимор с лешими патефон свой заводит.

Кирилл поставил запись на паузу.

Тем временем за окошком заметно потемнело, хотя для сумерек ещё было рановато. Устинья щёлкнула выключателем, и над столом зажглась одинокая лампочка в бумажном абажуре.

– Гроза, однако, собирается, – заметила она и, обращаясь к Кириллу, спросила: – А ты что ж ничего не пьёшь, не кушаешь? Иль не понравилась моя наливка?

– Очень понравилась, – заверил Кирилл.

– Вот и пей тогда, чего рот сушить.

– А и правда, Тимофевна, наливай, – махнула рукой Евдокия, – а то сидим ровно на поминках.

– Тьфу, ты, балаболка, – рассердилась Фёкла, – скажет, как в лужу...

– Чем собачиться, – захихикала Евдокия, – давай, сестрица, рассказывай, теперь твой черёд.

– И расскажу, расскажу! – заверила Фёкла. – Я разных бывальщин поболее твою помню. Да вот хоть эта, слушайте...

Кирилл снял паузу и пододвинул микрофон поближе к рассказчице.

– Случилось это недалече от нас, в Шелопугине, – начала Фёкла Даниловна. – Жила там раньше одна девка-перестарок – Катериной звали – рябая, косоглазенькая да полоротенькая. Ко всему – сирота круглая. Ну вот, по этой причине замуж её, сиротку убогую, никто не брал. Да что там «замуж»? Парни и на улице норовили её стороной обойти, а уж коли кому доведётся встретить, тот непременно либо кукиш в

кармане сложит, либо через плечо сплюнет – от сглазу. Потому слух шёл, будто глаз у ней очень нехороший, дурной, несчастья приносит. Девки тоже Катерину не особо жаловали, не то ведьмой, не то шишигой почитали. Враньё ли, не ли – не скажу, не знаю. Но народ, он, мил-человек, правду издаля чует, зря болтать не станет... Так вот и жила Катерина, маялась да тужила. И как не тужить: кругом, куда ни глянь, парочки милуются, сваты от избы к избе снуют, свадьбы справляют, а она – одна-одинёшенька, все-то её сторонятся, все чураются... Бывало, парни с девками соберутся на завалинке, разговоры разговаривают, смеются, семечки лузгают, а только-то Катерина к ним подойдёт, те так и прыснут в разны стороны, так и припустят прытком, точно от какой чумной заразы. Ну, конечно, заскучала девка, закручинилась. Такая тоска чёрная на неё навалилась, инда сохнуть стала, хотя и без того тоща была – жердь жердью. А раз поутру вовсе ей невоготу стало, не сдюжила она, вышла на крыльцо да и рывкнула в сердцах во всё-то горло: «Что ж такое дется! Хоть бы какой сатана меня в жёны взял!» Только сказала, колокольца забренчали, кони заржали, глядь, а уж катятся к её избе сваты с женихом. А жених – красавец писанный, росту саженного, сложения богатырского, одёжа – колхозному председателю носить впору. Обомлела девка, стоит, слова вымолвить не может... Ну, что там рассусоливать, коротко говоря, и опомниться Катерина наша не успела, как дело слажено оказалось – на третий день свадьбу играть назначили. Так вот. Молодая-то сама себя от радости не чуяла, ничего-то вокруг себя не примечала, не видела, токмо на суженого своего пялилась, да слёзы счастливые лила. Как срок подошёл, народу на свадьбу много собралось, всё боле со стороны жениха – у невесты-то, вишь, из родных никого, а деревенским тоже не больно охота у порченой гулять... Но жила тут же, в Шелопугине, одна малая девчуха – Лидка – годков тринадцати... Ты, Дуня, должна её помнить, она нам какой-то родней приходилась, дальней... Эта-то Лидка почитай одна из всего села Катерины не чуралась. По малолетству да глупости, верно. Вот её на свадьбу и пригласили. Она же, Лидка-то, после мне и рассказывала: дескать, расселись гости за стол, молодые – во главе, прочие, как водится, по бокам, её же, малую, с краюшку, на уголок усадили. Ну, ясно дело, пить-есть принялись, за здоровье молодых стаканы с первачом подымать; чуть погодя и веселие пошло, раздухарились гости, гармонь заиграла, песни полились... Тут у Лидки возьми и ложка под стол упади. Полезна она за ней, смотрит и глазам не верит: почитай у всех гостей вместо ног конски копыта! Выглянула из-под стола-то: вроде опять всё хорошо, всё нормально – гости как гости, разве парни больно мордатые и горластые, да девки – чересчур бестыжие, а так ни-

чего. Сунула голову обратно – как есть, конски копыта! Думает, мерещится ей верно – успела к тому времени самогону пригубить. Однако было у ней с собой стёклышко от лампадки, вот она и скумекала: дай-ка я сквозь него вокруг посмотрю. Лампадка та ведь непростая была, из самого Ерусалиму. Так и сделала: вытащила стёклышко, к глазам поднесла, да так и обомлела. Батюшки! Страсти-то какие! За столом уж не бабы с мужиками, не девки с парнями сидят – куды там! – одни чудища окаянные. Сопатки у всех не человекчи – зверины! У одного – морда лошадиная, у второго – собачья, у третьего – свиное рыло, другой – петушиной башкой на журавлиной шее крутит. Да каких харь только нет: лосиные, волчьи, медвежьи, лягушачьи, куньи – все пасти расщеперили, ржут, гогочут, рычат, зубами щёлкают. Иных образин малая отродясь не видывала, эдакие и во сне не примерещатся. А коли примерещатся, так и ума лишиться недолго. И у каждого-то изо рта огонь пыхает! Навела Лидка стекло на жениха и чуть памяти не лишилась: заместо статного красавца сидит подле Катерины страхолюднейший дед, горб из-за спины видать, лапы – коряги гнилые, рожа вся зелёным мхом поросла, глаза кровавыми угольями горят, а на темени – роги длиннее бычачьих! Вот Лидка-то и надумала: надо скоренько отсель бежать, подобру-поздорову, а то, не ровён час, схарчат её эти чудища, схарчат за милую душу и не подавятся. Но только она из-за стола подниматься стала, как соседка с жабьей сопаткой хватить её за руку: мол, куда это ты, малая, наострилась? Или тебе веселие тутошнее не по нраву? Или гости не показались? Лидка однако не растерялась и отвечает, что ей, дескать, по малой нужде приспичило; сбегает и вернётся. Жабья морда её и отпустила. Ну, малая, как только за дверь, так бежать кинулась, только пятки засверкали; добёгла до дому и давай криком кричать. Родные её спрашивают, что да как, а она только и может ответить, что вот, мол, у Катерининых гостей в роте огонь!.. Знамо дело, никто малой не поверил, решили – дурит девка, наливки упилась. А через недолгое время запылал дом-то у Катерины, весь разом вспыхнул и в несколько минут, точно свечка, сгорел. Как потушили его, никаких тел там не нашли, окромя Катеринино: едва внутрь вошли, тут и увидели – висит она, сиротинушка, вниз головой на потолочной матице, и кожа у ней вся сверху до низу ободрана, точно у телка на бойне...

– Это всё, Фёкла Даниловна? – уточнил Кирилл.

– Чего ж тебе ещё? Сплясать, нешто?

Тут небо за окном расчертил ослепительный разряд молнии, и в тот же миг весь дом сотряс мощный громовой раскат. Следом по крыше забарабанили капли, дробь их становилась всё чаще и чаще, пока не слилась в один сплошной

гул – начался ливень. Лампочка над столом замигала и погасла.

– Принесла нелёгкая! Теперь суток двое впотьмах сидеть. – Устинья встала и с ворчанием скрылась в закуте.

– Типун те на язык! – всполошилась Фёкла. – Завтра четвёрта серия «Цыгана».

– Вот тебе и четвёрта серия, – заявила хозяйка, возвращаясь с зажжённой керосиновой лампой и ставя её в центр стола.

Закопчённая лампа давала мало света, так что углы помещения тонули во мраке. Тусклое освещение, вспышки молний, громовые раскаты и нарастающий шум дождя порождали настроение тревожной загадочности, даже мистичности. Кирилл зябко передёрнул плечами и потянулся к рюмке.

– Устинья Тимофеевна, – обратился он к хозяйке, – пораруйте и вы нас какой-нибудь интересной бывальщиной.

Та усмехнулась в ответ, но ломаться не стала:

– Слушай, голубь... Припозднились мы, правда, ну да ладно, всё одно далеко мне до Фёклы с Евдохой, не такая языкастая... Вот ты давеча про колдунов спрашивался...

Кирилл не помнил, чтобы спрашивал о чём-то подобном, но спорить, разумеется, не стал.

– Любопытствовал, есть ли такие воржецы на свете, которым черти служат, – продолжала старуха. – Не ведаю, как в нынешние времена, а раньше их порядком встречалось. В тутошних краях. Нынче-то знающие люди, может, и перевелись, больно хилый народец стал, квёлый да боязливый, собственной тени страшится, не то что с нечистым стакнуться... Однако ведь, не токмо у воржецов, у каждого человека свои черти имеются. Что Фёкла про Лидку-то малую рассказывала, помнишь? Так я эту Лидку тоже знавала, когда она уже замужней бабой была, да угланов штук пять или шесть народила. Муж-то у ней был отсюдова, вот она к нам, в Бедокуриху, вскорости и перебралась. И про шелопугинскую свадьбу от неё слыхала. Всю правду Фёкла тебе рассказала, не сомневайся... Так я когда про осколок ерусалимской лампадки узнала, сама не своя сделалась, стала стёклышко это у Лидии выпрашивать, прицепилась к ней, что твой банный лист: дай, грю, мне его хотя на время попользоваться. И выпросила-таки! Дала мне его Лидия на три дня, но с условием – никому, ни одной живой душе, при её жизни не рассказывать, что увижу. Померла она давно, так теперь можно... Принялась я с этим стёклышком по деревне ходить – и что ты думаешь? – стала многое видеть, что ранее и в голову вступить не могло. Иду, бывало, по улице, смотрю тайком сквозь стёклышко, а саму страх так и забирает: куда не глянешь, всюду они так и шныряют, так и шныряют! Окаянные-то. Который-то на плече у женатого мужика притулился, нашётпывает тому на ухо

мысли срамные, зазывает к полюбовнице в соседнее село; тот – махонький совсем, не более лягушонка – у мальчика из кармана выглядывает, на воровство подзуживает; иной и вовсе изо рта у пьяницы горького торчит, хнычет, сивухи требует... И так-то, грю, у каждого. Вот иду и вижу: молодые в великий пост на сеновале затаились, милуются. А бес-то не теряется, пристраивается, бесстыжий, заместо мужа, ажно хрюкает от удовольствия. Другой нечистик бабе в руку ба-тог суёт, поучи-де уму-разуму детушек... Одно хорошо – никак не можно на саму себя глянуть, своих чертей рассмотреть, а то ведь и совсем тошно бы сделалось... Ну и не выдержала я долее одного-то дня, отдала то стёклышко Лидке обратно – на, грю, сама в него на чертей любуйся, а я уж, чай, обойдусь как-нибудь... А касаемо воржецов, так я тебе, мил-человек, про Ефима Фомича могу рассказать. Вот уж кто и взаправду знающий человек был, штук десять чертяк ему прислуживало. Всё мог! И скотину попортить, а после за мзду вылечить, и приворот сотворить, и хомут надеть. Кому надо, к примеру, зазнобу присушить или постылого мужа со свету сжить – все к Ефиму Фомичу... Да, шибко Фомича у нас уважали. А боялись и того шибче... Но ведь и он помер не простой смертью. Как занемог и понял, что уж не суждено поправиться, так наказал жене, – а любил он её очень и уважал, – ты гляди, Авдотья, едва дух из меня вон, – тот же час подрежь мне жилы на руках и ногах; сперва подрежь, а уж после можешь и в гроб класть. Так сказал да и помер в тот же вечер. Авдотья же не восхотела волю его последнюю исполнить: жаль стало над мёртвым мужем изгаляться. Ведь и она в Ефиме души не чаяла. Дружно они жили. Коротко говоря, сделала всё чин по чину: обмыла покойника, обрядила и в гроб под образами положила. А ночью-то всё одно не спит, побаивается. Вот, протопила печь да принялась угли кочергой к загниётке сгребать. Вдруг чует, затрепало что-то, зашумело в доме, оглянулась, а покойник-то в гробе шевелится, сесть пробует – и покрывало с себя на пол сбросил. Перепугалась баба, схватила кочергу, на печь через голбец залезла да и затаилась. А покойник уж из гробу вылез, по дому расхаживает, руками вокруг себя водит. Знамо, жену ищет. Авдотья лежит на печи, дрожит от страха, ни жива ни мертва. А Ефим уж к печи подобрался, на голбец взбирается; Авдотья хрясть ему кочергой раскалённой по зубам, а зубы-то у покойного все до единого железные были, только сбрыкали. Не отступает мертвяк, дальше ползёт. Да и как ему отступить? Черти-то, которых он при жизни голубил, пищи хотят, сожрать жену требуют. Вот, как ни отбивалась баба, как не чекрыжила мужа покойного кочергой, ништо не помогло, не смогла она до первых петухов продержаться... Поутру родичи в избу вошли да там же на печи их обоих обнаружили: у Ефима вся рожа в крови, а Авдотья едва не до мослов обглодана...

Закончив рассказ, бабка Устинья наполнила опустевшие рюмки и, не дожидаясь прочих, залпом махнула свою.

– Ну что скажешь, – крикнув и понюхав ба-ранку, спросила она Кирилла, – понравилась моя история?

– Нет слов, Устинья Тимофеевна, просто нет слов! – заверил Кирилл, останавливая запись. За окном снова польхнул ослепительный просверк, и секунды через три громыхнуло, но уже не столь раскатисто, как прежде; по всей видимости, грозовой фронт начал сдвигаться. – Прямо мороз по коже. Честно!

Евдокия прыснула в кулачок и подмигнула сестре. «Ну, будя, будя, раскудаhtалась», – осадил её Фёкла, ткнув локтем в бок.

Отпив из рюмки и закурив, Кирилл расслаблено откинулся на спинку стула. Что ж, финал научной командировки можно считать вполне успешным. Приятная истома овладела его членами, окружающие предметы и лица старух подёрнулись лёгкой дымкой. «Порядочно я, однако, назюзюкался», – подумал он.

– Ты наливочку-то пей, не стесняйся, – подливая ему, посоветовала Устинья. – Она у меня на ягоде, на травках – лечебная.

– Хороша наливка, – согласилась Фёкла, причмокивая и покачивая головой. – Мёртвого на ноги поставит.

Евдокия взвизгнула и так и зашлась рассыпчатым смехом. Кирилл от неожиданности даже сигарету выронил.

– Раскатилась поленница, – проворчала Фёкла, пряча усмешку.

Кирилл нагнулся, чтобы поднять выпавшую «Астру», кое-как подцепил её непослушными пальцами, но, бросив случайный взгляд под стол, так и обмер.

Ноги... Что-то не так с ногами старух... Ноги у них были не человеческие, а ... ну да! птичьи, куриные: туго обтянутые жёлтой с роговыми бляшками кожей, с вывернутым назад суставом, три пальца торчат вперёд, а четвёртый направлен назад, как шпора. Коротенькие ножки Фёклы и Евдокии не доставали до пола, и сёстры весело побалтывали ими в воздухе, лапищи же Устиньи скребли половицы здоровенными – в палец – когтями, оставляя длинные борозды.

Медленно выпрямившись, Кирилл встретил внимательные, настороженные взгляды старух. За столом воцарилась гнетущая тишина. Женщины молча, не мигая, смотрели на него, будто ждали чего-то. При этом лица их тоже странно изменились: носы заострились и вытянулись, точно клювы, круглые глазки расплзлись к вискам, сделались выпуклыми и хитро поблёскивали стеклянным блеском.

– Нешто у вас так в городе заведено, – прервала затянувшееся молчание Фёкла, – бабам под подола заглядывать?

– Э-э-м... Что ж... Благодарю за угощение и

за... за... Однако поздно уже, – осипшим голосом промямлил Кирилл, – пойду я, пожалуй.

– Куда ж ты, на ночь глядя? – удивилась Устинья. – У меня ночуй.

– Спасибо, но мне ещё надо... там... дела. – Кирилл дрожащей рукой потянулся к магнитофону. – Пойду.

– Куда ты, оглашенный? – воскликнула Евдокия, накрывая его руку своей пухлой ладошкой. – В темень, в грозу? Не пушай его, Устинья!

Кирилл резко дёрнул рукой, высвобождаясь из цепких пальцев Евдокии, и опрокинул лампу. Она покатила по столу и упала на пол. В горнице воцарилась тьма. Кирилл вскочил, на ощупь сграбастал в охапку магнитофон и ринулся к двери.

Тут очередная вспышка молнии на миг осветила помещение и выхватила из мрака Устинью, застывшую в дверном проёме с серпом в руках. Кирилл взвизгнул и бросился к окну. Послышались крики: «Держи его, окаянного, держи! Шею, шею ему хомутай!» Чьи-то руки схватили его за ворот, он вырвался, но зацепил ногой за лежащий на полу рюкзак и, рухнув как подкошенный, ударился головой о пристенную скамью. В глазах у него потемнело...

С трудом разлепив веки, Кирилл осмотрелся. Он лежал на скамье в пустой горнице, укрытый лоскутным одеялом, поодаль стояли его ботинки, вся прочая одежда была на нём. За окошком брезжил рассвет. Боже, как голова трещит! Со стоном и кряхтением он принял сидячее положение, пытаясь припомнить вчерашние события.

Ситцевая занавеска, скрывавшая кутный угол, кольхнулась, и в комнату вошла Устинья.

– А, голубь, очнулся, – протянула она, – а я уж думала, до обеда проспичь. В вечер-то прямо за столом тебя сморило, видно с устатку да непривычки; едва мы с Даниловнами тебя на лавку перетащили, вот ведь как. Похмелье-то не желаешь? Наливка ещё осталась.

– Не-ет, что вы, Устинья Тимофеевна! – замал руками Кирилл. – Мне с вашей наливки всю ночь что-то невообразимое снилось, вспомнить жутко. Будто я сам угодил в одну из тех бывальщин, что вы давеча мне рассказывали.

– Всяко бывает, – философски заметила Устинья.

– Который сейчас час? – поинтересовался Кирилл.

– Уж шесть утра.

В подтверждение её слов снаружи донеслись автомобильные гудки. Кирилл вскочил и заполошно заметался по избе, собирая пожитки.

– Патефон свой не оставь, – напомнила Устинья, – чай, вещь дорогая, опосля плакать будешь.

– Ну, спасибо вам, Устинья Тимофеевна, за всё, – уже в дверях поблагодарил он хозяйку, – побегу – водитель ждать не будет.

– Лети, лети, голубь, – махнула рукой старуха.

Когда «полуторка» тронулась, водитель, угостившись сигареткой, спросил:

– Это в чьей же избе ты, паря, ночевал?

– Вон в той, – указал Кирилл, – а что?

– Шуткуешь? – усмехнулся водитель. – Тот дом давно пустой стоит.

– Ну вот ещё! Как же пустой, когда в нём Устинья Тимофеевна Полоротова за хозяйку.

Шофёр повернул голову и внимательно посмотрел на Кирилла.

– И что, она вот прям сама тебя принимала?

– Ну да, – пожал плечами Кирилл, – сама. У неё ещё две старушки Мосоловы были.

– Это ж какие Мосоловы?

– Фёкла с Евдокией.

Водитель только крякнул и покачал головой.

– А что не так? – удивился Кирилл.

Сбавив ход на повороте, шофёр указал ему на кирпичное строение, возвышающееся на околице деревни.

– Видишь тот дом каменный? Это здешний клуб. А прежде в ём церква была. А за нею – кладбище, оно и сейчас есть. Вот на том кладбище они и лежат.

– Кто «они»? – не понял Кирилл.

– Полоротова Устинья и сёстры Мосоловы. Устинья-то уж лет пять как померла, а Мосоловых в прошлом году схоронили, я сам на ихних поминках водку пил.

– Ты чего-то путаешь, – нахмурился Кирилл, – этого быть не может! Я же с ними за столом сидел... чуть не всю ночь.

– Это тебя кто-то запутал, паря. Или глаза отвлёл. Тут такое бывает.

– Да нет... не может быть! Чепуха какая-то. Кто кому чего отвёл... Постой! У меня ж они записаны! Вот же! – Кирилл выдернул из сумки магнитофон, перемотал кассету в начало и нажал воспроизведение.

Сперва из динамика раздался какой-то треск, а затем послышались странные звуки, напоминающие злое квохтанье; они всё усиливались, усиливались, нарастали и вдруг – истошный, полный нечеловеческой злобы вой резанул им по ушам! Челюсть у шофёра отвисла, он выпучил глаза и резко крутанул баранку. «Полуторку» вынесло на обочину, и она на полном ходу ткнулась мордой в ствол могучего кедра.

Скорость была не очень велика, и водитель лишь порядком приложился грудью о рулевое колесо, а вот Кириллу повезло меньше – он вышиб головой лобовое стекло так, что половина его туловища оказалась на капоте. Шофёр скоро пришёл в себя и втащил Кирилла обратно в кабину.

«Эй, как ты, паря? Чего ты?» – спрашивал он, трясая пассажира за плечи. Голова у того безжизненно мотнулась и упала на грудь. Увидев выпирающий шейный позвонок, шофёр прижал ухо к его груди – сердце не билось, Кирилл был мёртв.